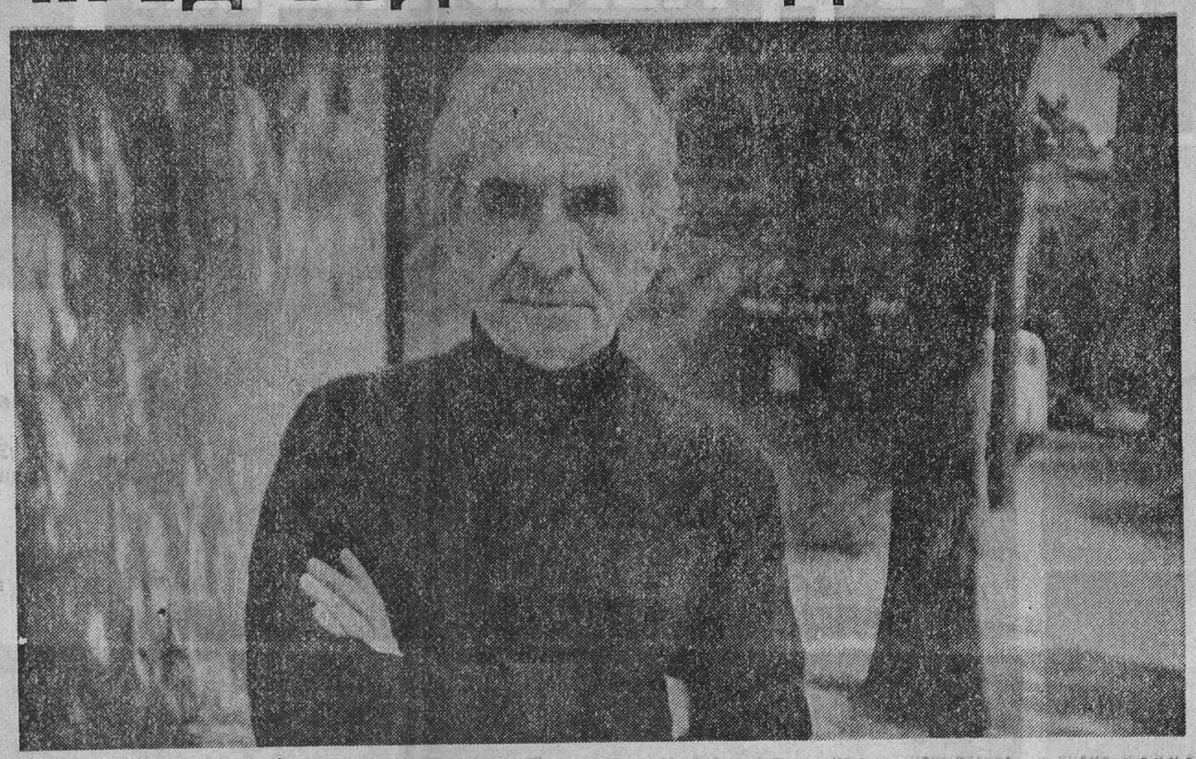
"Я РАНО ПРЕД СУДОМ ПРЕДСТАЛ..."

«Когда наши танки вошли в Прагу — я был чех. Когда пролилась кровь в Вильнюсе — я был литовец...», — говорит драматург Александр ВОЛОДИН



ОТ ИНТЕРВЬЮ Володин отказывался наотрез: «О чем говорить! Я перестал понимать: как жить! Что делать! Ради чего! Едва услышу, что кто-то все это знает и у него все в порядке, — скорей бегу спросить: почему у вас все в порядке! Как вы этого добились! Но у каждого свои причины, а мне ничего не помогает...»

Лишь с третьего захода кое-как уговорил...

Он недавно вернулся из Америки. Только не подумайте, что маститый драматург привык разъезжать по миру: до последней поры был вообще «невыездным». А в Штатах — старший сын, Володя. Теперь с ним еще и Алеша, младший.

Прошу хозяина квартиры на Большой Пушкарской прежде всего рассказать о детях.

— Володя, когда уже закончил Ленинградский университет, сделал что-то интересное в математической логике, но научные руководители говорили ему: мол, не забивай своей головой гвозди, это бесперспективное направление. Однако в Америке стали понемногу публиковаться некоторые его соображения, написанные непонятными человеку знаками. А наука (так и называлась — «математическая логика») была для него главным в жизни. И Володя наконец решил: раз она здесь не нужна, а там почему-то нужна, надо поехать туда и заниматься ею непрерывно. Его не выпускали. Долго... Зато теперь он работает там в области искусственного интеллекта. Его часто приглашают на разные симпозиумы — в Англию, Японию, Австралию, Германию, Португалию, Францию, Испанию, Италию, в бывший Советский Союз... Однажды он приехал сюда на какую-то конференцию вместе с женой Леной, и они уговорили меня отпустить к ним Алешу. (Алеша Володе сводный брат, его мама умерла).

И вот спустя два года я побывал у детей в Остине — это столица Техаса. Ну что сказать про них? Володя любит Лену, Лена любит Володю, оба любят свою работу. Алеша любит Володю и Лену, они полюбили его, этого могло бы и не случиться! Утром они поднимались раньше меня. Перешучивались, пересмеивались и — в университет. Володя и Лена там преподают, Алеша учится на первом курсе. Возвращаются поздно. Обедают — опять с шуточками, со смехом. И все время ко мне: «Почему не смеешься?» А я уже разучился не то что смеяться — даже улыбаться. Мне это трудно... Потом сразу, и уже почти до ночи, принимаются за дело: Володя — за свой компьютер, Алеша — за свой. Труд для них — наслаждение! Если бы мы здесь умели так работать, то, может, лет через триста тоже достигли чего-нибудь похожего на Америку...

Прекрасная страна, но жить там мне было бы трудно. Почему? Не знаю. Разве так уж безупречно наше отечество, на котором столько вины? Вот только что референдум в Литве постановил: немедленно вывести оккупационные войска. А мы отвечаем: некуда. Да что значит — «некуда?» Когда Литву прихватили, надо было думать, что все-таки не на всю жизнь. Почему немцы после войны испытывают перед Россией, перед Израилем чувство вины, а мы, незаконно захватив разные земли, подобного угрызения совести лишены начисто?.. Трудно и от этой мысли, и от многих других. Все летит в пропасть. Но жить могу только здесь. Как-то написалось:

Так неспокойно на душе.
«Добрее быть, — твержу, — добрее»,
«Умнее быть, — твержу, — умнее»,
Но мало времени уже...

Недавно, выступая по телевидению, Лидия Либединская сказала умные слова: «В то время, как мы недовольны жизнью, жизнь проходит». Вот в чем беда-то: жизнь проходит! И поэтому давать волю недовольству не хочу. Знаю что и здесь, на невских берегах, есть друзья. И в Москве — Гердт, Юрский, Гундарева... Помню, когда Наташу Гундареву впервые увидел на сцене (это было у нас, в «Первой пятилетке», в спектакле «Свои люди, сочтемся» она играла Липочку), побежал в антракте в буфет, купил водку и, только представление закончилось, — раз! — за кулисы. Опустился перед Наташей на колени и поцеловал ей ботинку (у ее героини были огромные туфли, каждый из которых я называл «ботинка»). И тут же мы с ней и с ее партнером Женей Лазаревым водку «на троих» распили... А вот в Америке подобное почти нереально — вскочить, ворваться к кому-то и с ходу предложить: «Давай выпьем!». Не-ет, там такое заранее как-то обуславливается, оставляется. По-моему, это большой недостаток... Здесь я чувствую, что кому-то нужен, невидимые связи все-таки существуют. Вот опять звонят с телевидения, просят выступить, я снова отказываюсь, но все же хорошо, что еще звонят. Я раньше по утрам любил выпить и записывать, что придет в нетрезвую голову. Эти «Записки нетрезвого человека» издали в «Библиотечке «Огонька». Я стал это продолжать. Но теперь, увы, водка дорогая. А не выпьешь, так и не напишешь...

ОДНАЖДЫ Володина спросили: «А что это у вас все пьесы какие-то «сиротские»! Что ни героиня — то без родителей». Задумался: «Правда — все сиротские... И в «Фабричной девчонке», и в «Старшей сестре», и в фильме «Дочки-матери» — бывшие детдомовки...» Впрочем, чему удивляться — ведь и сам вырос не дома.

Жил в Москве, у родственников. Старший двоюродный брат, «Шура-большой», играл в театральной студии Алексея Дикого.

— Для меня он был «главным авторитетом». В доме собирались актеры, и я, слушая их споры-разговоры, скоро ощутил для себя, что выше театра нет ничего! В зрительном зале меня потрясали Шиллер, Островский, Чехов... Как-то (я учился в пятом классе) брат поинтересовался: «Пастернака читал?» — «Нет», — «Почитай»... Стал читать. Первое ощущение было странным: вроде по отдельности каждое слово понятно, но вот когда они вместе, смысл неясен. Слоняясь по Самотечным переулкам, я все твердил непонятные слова Пастернака. Если шел дождь —

Ужасный! — Каплет и вслушается,
Все ли он один на свете...

Однажды вдруг эти строки понял. А пришла зима, понял и про снег:

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой,
Только крыши, снег и кроме
Крыш и снега — никого...

Ну а летом каждый вечер ездил в ЦПКиО: там играл военный духовой оркестр. С тех пор больше всех музыкальных инструментов люблю трубу: она так близка человеческому голосу! Вот почему фильм по моему сценарию «Звонят, откройте дверь!» — про трубача...

— В пионерском лагере вы горнистом случайно не были?

— Никогда в жизни. Кстати, в лагере меня исключили из пионеров!

— За что, Александр Моисеевич?

— За то, что над своей койкой приколол открытку с фотографией любимого артиста Качалова. Вожатый возмутился: «Какой еще Качалов?! Почему не Ворошилов, не Буденный?!» В общем, устроили надо мной показательный суд, начальник перед строем произнес речь о том, что я — за «искусство для искусства» и что в девятнадцатом году они таких расстреливали. И под барабанный бой выперли... Ну а спустя несколько лет так же выперли из комсомола...

Я рано пред судом предстал.
Из пионеров исключенный,
На порицанье обреченный —
Не в ногу шел, не то писал...

— Рановато начались ваши разногласия с властями. Чем же скомпрометировали доброе имя комсомольца?

— Стихами... Дело в том, что после школы не знал, «куда себя девать». А в мыслях все чаще представлялась такая картина: завалённая снегом деревня, где я учу литературе. Но не так, как было принято, а совсем иначе. И вот пришел на Белорусский вокзал и за семнадцать рублей (все, что наскреб в кармане) взял билет до станции Уваровка. Там обратился в роно, и сразу выяснилось, что учителей не хватает. Меня направили в деревню Вешки, где провел год. Время было самое страшное, тридцать седьмой, но в глуши это не так заметно. Однако бдительные коллеги засекли, что я читаю ребятам не те стихи, например, запрещенного Есенина! Так и вылетел из комсомола...

— Слава богу, не арестовали... Могли вы с таким «пятном» в биографии думать о высшем образовании?

— А я и не думал. Пришел срок призыва в армию, и я был этому рад: мол, пусть забирают и сами решают все за меня... Однако перед призывом на всякий случай все же подал заявление в ГИТИС, на театроведческий. На собеседовании спросили, кто мой любимый режиссер, я сказал — Вахтангов, хотя знал его только по опубликованным воспоминаниям. Образ Евгения Багратионовича был ошеломителен, теснил сердце. Рассказывал о нем, задыхаясь от волнения; ручка, которую сжимал в руке, дребезжала по чернильнице. Приняли. А через месяц — повестка в армию. В тот год забирали с первых курсов...

— Ну и что, армия вылечила вашу беспокойную душу?

— Если что и ненавижу, так это армию в мирное время... В первое же воскресенье получил от знакомой письмо: «Приеду, встречай». Увольнительных нам еще не давали, однако пошел. Навстречу капитан Линьков: «Товарищ боец, ваша увольнительная?» — «Увольнительной нет, но я договорился с девушкой, что встречу ее». — «А ну в часть!» — «Не могу, товарищ капитан. Я же обещал ей, что приду встретить. Наложите на меня любое взыскание, но — потом». — «Товарищ боец! Встаньте по команде «смирно»!» На нас уже смотрели прохожие. Я попросил: «Товарищ капитан, не надо кричать, неудобно. Я все-таки пойду. Простите меня, пожалуйста»... Он схватился за кабуру. (Тогда как раз вышел приказ Тимошенко, что за неисполнение приказа командир имеет право стрелять). Но не выстрелил. Вернувшись после свидания в часть, я отделался сравнительно легко... Дедовщины тогда еще не было. Зато — по негласному правилу — командир, если считал нужным, мог врезать рядовому по физиономии. Служили долго, «до предстоящей войны». От тоски спасали стихи Пастернака... Однажды в воскресенье нас повели в Дом Красной Армии — смотреть кино. Я от строя отбился — чтоб полтора часа посидеть в соседнем скверике, поглазеть на женщин. К концу сеанса вернулся в ДКА: сейчас наши выйдут, и я пристроюсь. Двери кинозала распахнулись, и солдаты-мальчики выскочили с радостными воплями: «Ура! Война! Сейчас объявили! Война с Германией!».

— Отчего же по столь печальному поводу такая радость?

— Да потому, что война — это конец казарме, заграничные страны и скорая победа! Мы шли строем, но пели, хохотали и не понимали, почему женщины у ворот, глядя на нас, плачут... Потом мы сидели в бетонированных дотах старой линии обороны под Полоцком. Ходили слухи, что Буденный уже взял Варшаву, что Ворошилов уже подступает к Берлину. Война вот-вот могла кончиться без нас. А немецкие самолеты тихо летели над нашими головами куда-то в тыл и там сбрасывали бомбы...

— Какая-то очень уж нетипично благостная война у вас получалась...

— Это было недолго. Вскоре мы вернулись в Полоцк и увидели красно-черные развалины — все, что осталось от уютного городка. Потом выходили из первого окружения, из второго... Тяготы войны я старался переносить терпеливо, как интеллигентный человек...

МЕДАЛЬ «За отвагу» он заслужил еще в ту пору, когда награды давали редко. А последнее ранение, осколок от мины, получил в сорок четвертом: металл прошел между ребер и завяз в левом легком. Сейчас, вспоминая госпиталь, признается, что самой большой радостью там оказалось радио:

— На спинку койки был намотан наушник. Я прижимал его к уху и слушал нечто, напоминавшее музыку. Не слышал ее с начала войны, забыл, что она существует. Наушник потрясал просто звуками каких-то музыкальных инструментов, что там исполнялось — не разобрать. Но она была, она существовала, и это было счастье... Позже, уже в другом госпитале, вымучил стихотворение. Там были такие строки:

И, может быть, я побегу, задыхаясь,
По мелкому черному снегу вперед,
Чтоб в праздничном, выдуманном Китае
Звенели вовсю гребешки Турандот.
И, может быть, я, запахнув шинелишку,
По мерзлой траншее ползу с ППШ,
Чтоб схожий со мной незнакомый мальчишка
Сейчас на галерке сидел не дыша...
— Значит, не забыли в лихую годину про театр?

— Да, театр тянул по-прежнему. Но восстанавливаться в ГИТИС не решился: считал, что теперь в театре ничего путного сделать уже не смогу. Выбрал институт кинематографии. Ведь кино, что это? «Сердца четырех», «Трактористы»... Не примут — и бог с ним. Перед экзаменом по специальности досыта наелся хлеба (какой-то он был поддельный, со жмыхом). Задание: написать рассказ. Однако с непривычки к такому количеству хлеба почти сразу почувствовал, что меня тошнит. Преподаватель показывает на меня остальным абитуриентам: «Вы сразу схватились за перья, а вот он, молодец, не спешит, думает!» Думал же я только о том, что меня тошнит. Еле-еле исписал страницу и ушел. Через несколько дней, уверенный, что провалился, прихожу за документами и в коридоре слышу: девушка-старшекурсница рассказывает подруге, что какой-то парень, солдат, написал на экзамене потрясающий рассказ — всего одна страница, все в подтексте!..

Потом пять лет нас учили писать сценарии. Потом оказался в Ленинграде, на студии научно-популярных фильмов, где бдительный начальник сценарного отдела из инородцев прощал только Маркса, Свердлова и меня. Поскольку бывший фронтовик, то редактировал секретные военные фильмы о правилах обматывания портянок, обращении с винтовкой и прочем, что в обильной переписке обозначалось сугубо секретными номерами. Однажды случилась беда: на студийном столе я забыл адрес автора, к которому должен был зайти. Для верности нарисовал планчик, как к нему добраться. Жил он где-то возле тюрьмы, которую я так и обозначил на плане: «тюрьма». Мой начальник обнаружил этот план — предполагаемого взрыва или подкопа — и после периодически давал мне понять, что в случае чего план попадет куда надо...

— Каким же образом автор военных, секретных, научных фильмов о «правилах обматывания портянок» вдруг создал пьесу «Фабричная девчонка», которая тогда, в середине пятидесятых, в самом-самом начале хрущевской оттепели, потрясла отечественную сцену?

— А вот каким. На фронте мы часто мечтали: «После войны ты ко мне приедешь, а я сразу, ни слова не говоря, — к буфету, где специально для этого случая стоит бутылка водки. И молча! У порога! Выпьем по стакану! Граненому!..» И вот приезжает ко мне в Питер с Украины Коля Кылымник. Выпили мы, как договаривались на войне: молча, у порога, по граненому, закусили его арбузом, и я Коле рассказываю: «После ранения в легкое не мог дышать, казалось — вот-вот сыграю в ящик. Думал: «Ах, если бы мне дали прожить хоть год, как много успел бы за этот год сделать!..». С тех пор уже восемь лет минуло, а ничего стоящего так и не сделал...» Обсудили мы все это, а когда Коля уехал, я взялся за перо. Получилось несколько рассказов, которые составили книжку. Прочитав ее, завлит Пушкинского театра стал уговаривать меня, чтоб написал пьесу. А я знал, что пьеса (!) для театра (!) у меня не получится. Но из порядочности следовало что-нибудь сдать, хотя бы одно действие, дабы завлиту стало ясно: хочу, но не могу...

Однажды в общежитии «Скорохода», где обсуждали мою книжку, комсомолки посоветовали мне написать «критический рассказ» о девице, которую «недавно выгнали с танцплощадки!». Познакомили меня с этой девицей, и она мне понравилась. И захотелось написать о ней и обо всем, что происходило вокруг, но — наоборот! Совсем наоборот!.. Стал писать пьесу. Позвонил Меттеру (он редактировал мою книжку), спрашиваю, сколько страниц должно быть в одном действии. Он почему-то сказал: «Не больше девятнадцати»... Словом, так появилась история про Женьку Шульженко, «фабричную девчонку». Однако ее «критическое направление ума» (а она всего-то лишь называла вещи своими именами) вызвало в официальной критике негодование. Меня обвиняли в «искажении действительности», в «сгущении отдельных теневых сторон жизни», в том, что «замахиваюсь на вещи, очень дорогие для молодых современников», что «сею среди нашей молодежи семена нигилизма»...

— Хорошо помню этот спектакль в Ленкоме, с Дорониной в главной роли, — как зал на слова героини то и дело отзывался смехом, овациями. Крепко там доставалось от Женьки и глуповатому комсомольскому «вождю», и самовластному мастеру — подобное в театре тогда было внове. Примерно так же, на таком же накале, за неделю до этого мы, студенты Университета, обсуждали роман Дудинцева «Не хлебом единым»: актовый зал бурлил, в лицо ректора-академика бросались обвинения, к которым он явно не привык... Ваша Женька поступала так же...

— Женька бесила власти потому, что по общей идеологической позиции была другая. Там говорилось про вранье, про показуху... Итак, «Фабричную девчонку» поносили за «очернительство» начальства и вообще действительности, за «критиканство». И хорошо, что ругали. (Ведь, если б не ругали, я бы следом написал еще одну «Фабричную девчонку», и еще, и еще. А как же? У зрителей она пользовалась успехом, да и вообще легче делать то, что уже умеешь). И я решил: напишу другую пьесу, где вообще не будет никакого начальства. Раньше в финале любой пьесы обязательно появлялся начальник (секретарь парткома, райкома, обкома) и все расставлял по своим местам: кого надо — наказывал, кому надо — указывал, кто заслужил — тех одаривал счастьем. Я же решил, что мои герои будут получать и радости, и горести не от «партии и правительства», а от таких же, как они, простых смертных... Каким-то образом, еще до того, как пьеса была поставлена, она попала в обком, и возникла формула, что мое творение — «злобный лай из подворотни», «неустроенные судьбы», «мелкотемье»... Так дальше и повелось: все, что я делаю, — «мелкотемье», «приземленность»... Однажды в мое полуподвальное семиметровое жилище, где я обитал с женой и сыном (побывав здесь, Назым Хикмет заметил, что его камера в турецкой тюрьме была больше), спустилась завлит ВДТ Дина Морисовна Шварц: «Георгий Александрович просит дать ему вашу новую пьесу». Товстоногов решил ставить «Пять вечеров»...

— О, этого не забыть! Это был грандиозный спектакль! Из всего, что создал Георгий Александрович, пожалуй, — самый пронзительный, самый трепетный, самый ошеломительный... Он завораживал с первых мгновений, когда в затемненном зале, по трансляции, возникал густой, чуть хрипловатый голос Товстоногова: «Эта история произошла в Ленинграде на одной из улиц, в одном из домов...» А какой актерский ансамбль — Шарко, Копелян, Лавров, Макарова... Где же, Александр Моисеевич, подсмотрели вы этих своих героев, Ильина и Тамару, откуда донесся к вам этот щемящий душу мотив их радости и встречи?

— Тут я шел немножко и от своей жизни. Например, я уже вам рассказывал, как после ранения мечтался: «Ах, если бы мне дали прожить год, сколько успел бы всего сделать...». Так вот, передал Ильину эти свои тогдашние ощущения: «Ранило меня — трясусь в медсанбатской машине, прижался к борту. Осколок попал в легкое, чувствую: чуть наклонишься — и кровь хлынет горлом. Так, думаю, долго не проживешь, гроб. И только одна мысль была в голове: если бы мне разрешили прожить еще один год. Огромный год. Миллион вот таких бесконечных минут. Что бы я успел сделать за год! Я бы работал по шестнадцать, по двадцать часов в сутки. Черт его знает, может быть, я сумел бы сделать что-нибудь стоящее!»... Еще эпизод. Перед самым уходом в армию я познакомился с девушкой. Пришла она меня провожать. Сидим мы, новобранцы, в грузовых машинах, провожающие плачут, а она смотрит снизу и говорит: «Видишь, какая у тебя будет бесчувственная...» — и запнулась. Моторы уже тарахтят, плохо слышно. Кричу: «Что ты сказала? Не понял!» А она: «Я сказала: видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена?» Уже жена? Вот это да! Машины тронулись, она побежала вслед. Потом мотор, что ли, заглох, остановились. И она поодаль остановилась, прислонилась к водосточной трубе. Опять поехали — она опять побежала. Потом отстала... В войну мы переписывались, а после все-таки поженились... В пьесе точно так же Ильин вспоминает о том, как его на фронт провожала Тамара.

— А эта дивная песенка: «Миленький ты мой, возьми меня с собой...», которая проходила через весь спектакль, определяя его особую тональность, — где вы ее раскопали? Ведь именно после «Пяти вечеров» она стала так популярна...

— Эту песенку, когда мы собирались домашней компанией, замечательно пела Света Пономаренко, редактор с «Ленфильма»... Принимаясь за работу, Товстоногов сказал: «Буду ставить этот спектакль с волшебством». Как я понял позже, волшебство состояло в том, что он с непривычной подробностью рассказывал о людях, которые — по тем временам — вообще не стоили внимания: жалкие люди, неустроенные судьбы. Тем более, что героиня спектакля была — опять же по тем временам — неуместная на сцене одинокая женщина. Зина Шарко играла замотанную, но гордую, надменно «советскую», но — одинокую, одинокую... Товстоногова вызывали в обком: «Почему она у вас одинокая? Вы что имеете в виду, что после войны у нас стало меньше мужчин?» Георгий Александрович обкомовцев успокаивал: «Да нет, в финале они с Ильиным уже сидят рядом, непременно поженятся...».

— А вас в Смольный таскали?

— Опуститься до меня они себе не позволяли. Зато Екатерина Алексеевна Фурцева со мной общалась. Например, приехала в Питер запрещать «Пять вечеров». Перед началом второго действия иду за ней следом по фойе. Вдруг спрашивает: «Какой ваш любимый драматург?» — «Наш или заграничный?» — «Зарубежный». Мне не до того. Не сразу вспомнил — кто там?.. Наконец: «Миллер». — «А еще?» — «Теннесси Уильямс». — «А еще?». Вот тут-то и вспомнился действительно самый любимый: «Эдуардо де Филиппо!» Она остановилась, обернулась: «Вот ваша ошибка! Итальянский неореализм — не наша дорога!»... Как-то пригласили меня в Чехословакию. Звонит Фурцева: «Ехать не рекомендую. Вам будут задавать провокационные вопросы, вам будет трудно на них отвечать, а если ответите, вам будет трудно возвращаться»... Да, вниманием ведомство Фурцевой меня не обделяло. Так, например, по поводу «Старшей сестры» в Министерстве культуры сочли, что «Володин выступает против таланта». А по поводу «Назначения» Екатерина Алексеевна утверждала: «Автор вбивает клин между народом и правительством»... В ЦК на встрече с драматургами Фурцева (она тогда была секретарем ЦК) наставляла: «Ваша ошибка, что вы обобщаете. В искусстве ничего не надо обобщать»...

— Конечно, партийных функционеров ваши «обобщения» раздражали. Тот же интеллигент Лямин из «Назначения»: несмотря на все свои потешные терзания — талантлив, и за счет его ума процветает бесталанный начальник. Функционеры беспокоились: если бы такие, как Лямин, пришли к руководству, что сталось бы с ними?

— Зря беспокоились. Лямины тогда к руководству не приходили. Неуверенные в себе, боящиеся обидеть кого-то, — эти комплексы были знакомы и мне. Я вообще тогда решил: чем откровенней о себе, тем, может быть, больше найдется людей, которые подумают, что это — и про них...

— И Бузыкин из «Осеннего марафона» — это тоже вы?

— Естественно. Там и мое идиотское безволие, и боязнь обидеть — все, что уже упомянуто. Например, у меня тоже был сосед, который взял за правило рано утром, перед работой, приходить для «политических» разговоров. Отказать ему в этом я не мог и, когда сосед удалялся, ложился досыпать... Но писать о себе всерьез, с нахмуренными бровями нельзя. О себе можно — только с юмором, что и пытаюсь делать... Картину великолепно снял Георгий Данелия — режиссер с удивительным чувством и юмора, и поэзии...

— «Осенний марафон» на фестивале в Сан-Себастьяне заслужил первый приз — «Золотую раковину». Фильм «Звонят, откройте дверь!» был удостоен главного приза — «Золотого льва» — в Венеции. Однако дома ленты по вашим сценариям чаще всего старались обойти стороной. Некоторые в прокате появлялись вообще на мгновение — например, «Фокусник» или «Похождения зубного врача»...

— Тут все легко объясняется. Ведь про что «Похождения зубного врача»? Про ответственность общества перед личностью. А в Госкино, резко возражая против этого сценария, возмущались: «Вы поставили тему с ног на голову. У нас личность отвечает перед обществом!»

— Ну а в «Фокуснике» какая тема вас занимала?

— Простая. И в жестоких испытаниях жизни и в ее соблазнах надо оставаться самим собой.

— Могли бы сформулировать главную общую идею всего, о чем пишете?

— Пожалуй, это противостояние человеческих чувств регламентам жизни... Да, собственно, об этом даже мои, так сказать, «условные» пьесы, написанные в жанре «каменного детектива»: «Выхухоль», «Ящерица», «Две стрелы»... Кстати, это все было поставлено поздно, с опозданием лет на тридцать. И «Каструччо». И «Мать Иисуса»...

— А «Дульсинея Тобосская», где блистательно играла Алиса Фрейндлих?

— Вроде бы, тоже об этом.

— По-моему, «Дульсинея» — это прежде всего, как и многое у вас, о чуде любви.

— Простите, мне эти слова — «чудо любви» — не нравятся. А вообще чувство преклонения перед женщиной с долгих армейских лет не оставляло меня. На фронте вспоминались строки Пастернака:

Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд.
В чем-то, впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют...

А вот еще другие, тоже поразившие меня слова Пастернака: «Я с детства питал робкое благоговение перед женщиной, я на всю жизнь остался надломленным и ошеломленным ее красотой, ее местом в жизни, жалостью к ней и страхом перед ней. Я реалист, до тонкости знающий землю, не потому, что я по-донжуански часто и много развлекался с женщиной на земле, но потому, что с детства убирал с земли камушки из-под ее ног на ее дороге...»

— Нет желания написать о герое нашего времени, о нуворише с миллионами в кармане, который сегодня, по сути, верховодит жизнью?

— Среди них наверняка есть весьма приличные, да и вообще подобные дельцы стране, видимо, нужны, но, помимо моей воли, они мне чужды. Недавно на телеэкране показали миллионера, который пожертвовал какие-то миллионы на «модный» театр. Интервьюер спрашивает: «Почему вы помогаете именно этому театру?» — «Потому что он лучший в стране». — «Вы видели его спектакли?» — «Нет»... Как эффектно!.. Вот о таких и писать неохота. И потом — это у меня не получается... А вообще — что происходит сейчас с нами! Недавно был свидетелем того, как люди превратились в мелочную, злобную толпу. Удрученный, выпил — и получился вот такой «полустих»:

Простите, простите, простите меня!
И я вас прощаю, и я вас прощаю.
Я зла не держу, это вам обещаю.
Но только вы тоже простите меня!

Забудьте, забудьте, забудьте меня!
И я вас забуду, и я вас забуду.
Я вам обещаю, вас помнить не буду.
Но только вы тоже забудьте меня!

Как будто мы жители разных планет.
На вашей планете я не проживаю.
Я вас уважаю, я вас уважаю,
Но я на другой проживаю. Привет!

— А почему вы назвали это «полустихами»?

— Да потому, что — после Пастернака. И многих, многих истинных поэтов. Правда, благодаря Валерию Гаврилину, Сергею Никитину, Саше Хочинскому некоторые мои «полустихи» стали песнями, романсами...

— В ваших «полустихах» все время повторяется мысль о собственной вине за нашу неудавшуюся жизнь, о ваших «стыдах». Да в чем они, эти ваши «стыды»?

— Во многом. Например, не ходил на Красную площадь с теми, семерыми, против наших танков в Чехословакии... Когда наши танки вошли в Прагу — я был чех. Когда саперные лопатки опускались на головы девушек с проспекта Руставели — я был грузин. Когда пролилась кровь в Вильнюсе — я был литовец... А кто я по любви к Толстому, Достоевскому, Чехову, Пастернаку, к белым городкам с булыжными мостовыми, которые в войну мы прошли сначала с запада на восток, а потом обратно?..

— И все же, будет новая пьеса?

— Нет.

— Но сейчас театр вам по-прежнему интересен?

— Мне вот какой театр интересен. В спектаклях режиссера Некрошюса из Литвы поражает постоянная, то явная, то подспудная, тема: насилие и рабство. И насилие, и рабство у него разнообразны, как в жизни. «Дядя Ваня» — рабство дяди Вани, Сони, Елены Андреевны перед самоупоенным профессором Серебряковым. И горько исступленная музыка спектакля — хор рабов из оперы Верди... В спектакле «Квадрат» — рабство сосланного в лагерь перед Человеком, который просвечивает его душу алым лучом всеведущего прибора. И не зря: оказалось, в душе молоденького героя спектакля — не все в должном порядке. (Как почти у каждого из нас). И — рабство его перед лагерным надзирателем. И перед сторожевыми столбами лагеря, которые пронзительно сигналили, едва их касался заключенный... И манкурты в спектакле по повести Айтматова — рабы своих властителей: беспамятные, они прежде всего забыли свою отнятую свободу... Не это ли главная боль всех времен? Рабство человека перед человеком, страны перед страной...

— Александр Моисеевич, многие литераторы пытались объяснить, что такое счастье. А что есть счастье, по-вашему?

— Пустынное слово среднего рода...

НА СТОЛЕ, под стеклом, — фотографии сыновей. А еще — юной Леночки Прокловой, которая в его фильме родилась как актриса. А еще — Беллы Ахмадулиной с автографом: «Саша, ты прекрасен! Я тебя всегда люблю». А еще в этой комнате — Достоевский, Зощенко, Мейерхольд, Окуджава, Высоцкий, Пастернак...

Он снова читает мне:

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только.
Живым и только — до конца.

И подумалось: сам-то Володин от своего лица не отступается. Ни единой долькой. Поэтому-то ему и трудно — и раньше было трудно, и теперь...

С гостем встречался
Лев СИДОРОВСКИЙ

Фото автора

СМЕНА (с-пб)
1 июля 1989 г.
№ 149—150 (20199—20200)
3 страница